

Франсуа Артог

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ*

И Улисс возвратился,
Пространством и временем полный.
Осип Мандельштам

Предлагаемая русскому читателю статья представляет собой отрывок из моей книги, опубликованной в 1996 г. в издательстве Галлимар¹. В книге (как и в статье) речь идет о путешествии Улисса. Почему я выбрал этот исторический персонаж? Потому, что Улисс представляет для европейской культуры символический образ путешественника. Изучая историю его приключений, мы можем поразмышлять о том, что такое путешествие и что такое культурная граница.

Человек памяти (ибо он тот, кто не желает ничего забыть) и человек границы, Улисс своими путешествиями очерчивает границы греческой идентичности. основополагающий текст греческой культуры, “Одиссея”, представляет собой не что иное, как путешествие, из которого возвращаются. Отсюда закономерный вопрос, почти предположение: не могло бы это упорное стремление вернуться рассказать нам что-либо по поводу представлений греков о самих себе и об Ином?

Следующий вопрос. Греки постоянно настаивали на том, что их отличает от других в первую очередь греческая мудрость (*sophia*), присущая только им, и тем не менее, многочисленные греческие интеллектуалы уже в классическую эпоху уверяли, что эта мудрость пришла с Востока. Как же “свое” может иметь истоком “чужое”? Наконец, греки разделили все человечество на греков, с одной стороны, и варваров, – с другой. Но что же происходит, когда начиная со II в. до н.э. римляне, победители греков, становятся хозяевами мира и оппозиция грек–варвар утрачивает свое значение?

Отсюда и третий вопрос: какое же место в этих отношениях занимают римляне? Что они сами думают по этому поводу? Кто же они – варвары, греки или кто-то еще (троянцы?). Так начинается этот длительный диалог между Грецией и Римом, диалог, имеющий далеко идущие для истории культуры последствия. Размышлениям на эту тему и посвящена моя книга.

* * *

* Перевод текста подготовлен к публикации при поддержке РГНФ. Грант № 96-01-00081, проект «Феномен “Иного”: “свое” и “чужое” в пространстве культуры».

© Франсуа Артог, 1998
© Л.Б. Илиашвили, перевод, 1998

В Греции все начинается с эпоса, в нем истоки всего нового, и под знаком Гомера проходят века. Именно в эпосе и следует прежде всего искать начало основных категорий греческой антропологии. "Одиссея" – это не география Средиземноморья, не этнографическое исследование, не переложение на стихи и музыку инструкций по мореплаванию (финикийских или других), но это повествование о путешествии, полное мучительного беспокойства и тревожного ожидания его завершения. Оно рассказывает о возвращении мужа, который в душевной тоске и страданиях годами скитался по морю, и в ответ на расспросы царя Алкиноя утверждал, что он "всего лишь смертный" и, может быть, самый несчастный из таковых. И море странствий здесь всегда незримо присутствует, неотступное и ненавистное – море внезапных шквалов и ночных кораблекрушений, влекущих моряка к жалкой смерти. Да, Одиссей** – более, чем кто-либо, мореплавателем, но он мореплавателем поневоле. Он не тот, кто грезит о морских рассветах и об островах, "цветущих, прекрасней, чем в снах".

1. Путешествие и возвращение

В отличие от дантовского Одиссея, влекомого жадной познания мира, Одиссей Гомера по своей сути путешественник поневоле. Он отнюдь не мог бы шептать про себя строки, вкладываемые ему в уста греческим поэтом Константиносом Кавафисом: "Когда задумаешь отправиться в Итаке, / молись чтоб долгим оказался путь, / путь приключений, путь чудес и знаний... / Пусть много-много раз тебе случится / с восторгом нетерпенья летним утром / в неведомые гавани входить"². В самом деле, Одиссей выражает желание увидеть или узнать что-то новое лишь по исключительным поводам: так, он против желания своих спутников хочет остаться в пещере Циклопа с тем, чтобы его "увидеть". А когда он плывет вдоль берега острова Сирен, он охвачен желанием "их слушать"³. С желанием вернуться на Итаку, не позабыть о дне своего возвращения связана его решимость сохранить статус смертного. Всего лишь однажды, во время пребывания у Цирцеи, товарищам пришлось напомнить ему о родине⁴.

Памятливость Одиссея свидетельствует не о культе прошлого и не о его склонности предаваться воспоминаниям⁵. Он намерен хранить память о том, кто он есть и прежде всего – память о своем имени. В конце концов он восстановит свою идентичность и прежде всего – свое имя (Никто сможет стать вновь Одиссеем); он снова станет законным властителем Итаки, мужем Пенелопы и отцом Телемаха, но он также знает наверняка, что в конце пути его ждет смерть – "его" смерть, предсказанная ему непогрешимым оракулом Тиресием, чего ради он дошел до Аида⁶. Но сначала ему предстоит испытать, каково не быть узанным своими близкими и

** От редакции: При переводе статьи Ф. Артога мы позволили себе заменить всюду, кроме авторского предисловия, единственно употребляемую во Франции латинизированную форму имени гомеровского героя – Улисс, на более привычную и значимую для русского читателя – Одиссей

узнать своей родины в тот самый момент, когда он ее наконец обретет⁷.

С точки зрения присущего грекам понимания "иного", по-видимому, отнюдь не безразлично, что это первое скитание по свету, путешествие каноническое и основополагающее, есть путешествие не туда, а обратно. То, что должно было стать простым переездом через море, обернулось странствием, которое потребовало десяти лет для своего завершения. До "Одиссей" Одиссей всего лишь один из предводителей ахейян, известный своим красноречием и остроумием, но именно Возвращение делает из него героя Стойкости, даруя ему на веки вечные исключительную роль, аналогичную той, которую "Илиада" присвоила Ахиллу.

Возможно ли вообще разделить путешествие и возвращение? Разве путешествие, из которого герой не возвращается – не случайно, а по определению, – все еще оставалось бы путешествием? Не есть ли это бесследное исчезновение? Однако даже и после таких "путешествий" остаются сказания, песни, слезы и порожденное разлукой ощущение пустоты. Более земные и типичные для греков путешествия, цель которых заключалась в колонизации новых территорий, предпринимались в Средиземноморье начиная с VIII в. до н.э. Не замыслились ли они как именно те путешествия, из которых их участники, добровольно или по жребию пустившиеся в плавание под предводительством oikiste (основателя новой колонии), не возвращались? В некотором смысле так оно и было. Ведь речь шла об основании совершенно нового города. Отсюда все ритуальные меры предосторожности при закладке города, цель которых – положить начало и предотвратить опасность: совет с Аполлоном в Дельфах; "инвеститура" основателя; обращение к прорицателям перед отплытием, во время плавания и в момент прибытия на место; перенесение частицы огня, взятой из общего очага метрополии. В остальном – они отправлялись в путешествие налегке, оставив своих предков и усопших, в отличие от Энея, который, усадив на плечи отца, пускается в путь для того, чтобы создать новую Троию⁸. Что же касается "обычного" путешествия, то оно, конечно, предполагает возвращение. Одним из его обязательных структурных элементов является рассказ после возвращения. Это обстоятельство отмечал, к примеру, Паскаль и осуждал его как проявление любопытства. "Любопытство есть всего лишь проявление тщеславия. Чаще всего люди хотят узнать что-то лишь для того, чтобы позже об этом рассказать; иначе кто бы отправился в путешествие по морю, зная, что он никогда о нем не расскажет, а из единственного лишь удовольствия увидеть, без всякой надежды когда-либо сообщить о нем". Никто не путешествует единственно из удовольствия видеть. Путешествие ориентировано на будущее, оно позволяет путешественнику взглянуть на себя со стороны, запомнить то, что достойно внимания и получить удовольствие от созерцания.

Но если путешествие – не более, чем повесть о возвращении, а все приключения и все посещения увиденных земель суть лишь отклонения от цели и кружной путь к дому, не свидетельствует ли это о чем-то ином? Одиссей помнит только о дне возвращения. И тогда все этапы его долгого кругосветного плавания оказываются лишь случайными обстоятельствами, которые усиливают риск забыть о нем. Мы находим в эпосе и дру-

гое, короткое путешествие, единственное счастливое из всех – это возвращение Нестора, который, покинув троянские берега, мчит на всех парусах в Пилос, "ничего не увидев". О таком путешествии нечего рассказать, кроме того, что ревностное и непогрешимое благочестие Нестора незамедлительно приводит его в тихую гавань. Менелай же и Одиссей "упустили" момент: именно поэтому они и увидели разные страны прежде, чем наконец вкусят "возвращения сладкого"⁹. "Оплошность" (по отношению к богам) приводит к отсрочке. Именно в это пространство, открывшееся Одиссею в связи с отсрочкой его возвращения, впишется опыт "другого", и именно в этом пространстве по мере повествования будут разворачиваться главные этапы возникновения греческой антропологии. Другой – всегда угроза, а граница чужого мира воплощает крайнюю опасность. Для сохранения и восстановления своей идентичности, обретения своего собственного имени Одиссей Стойкий должен быть бдительным. Возвращение к себе происходит наперекор "другому" – будь то Полифем, готовый его сожрать, или Калипсо, жаждущая подарить ему бессмертие, если он останется с ней. В этом эпизоде впервые формулируется "героический отказ от бессмертия"¹⁰.

Но в конечном счете "Одиссея" повествует также и о том, что возвращение героя не является достаточным условием для того, чтобы все возобновилось сначала. "Одиссея" – поэма о возвращении, развернутая в пространстве – упирается во время. Итака существует и все же она больше не Итака, не прежняя Итака. В пространство постепенно проникает время, которое все изменяет. Старый пес Аргус, признав своего хозяина умирает. С первых страниц поэмы мы погружаемся во время воспоминаний. Забвение бродит где-то рядом, иногда желанное, иногда опасное. Память о мертвых неотступно преследует живых. Менелай, вернувшийся наконец в свой дворец в Спарте, оплакивает "воинов, погибших на равнинах Трои вдали от Аргоса". Но среди них есть один, воспоминания о котором чаще всего тревожат его, лишая пищи и сна – Одиссей¹¹. Одиссей тоже плачет, когда у феакийцев слышит Демодока, который в своей песне прославляет его в третьем лице, словно он уже умер. Он проходит через мучительный опыт несовпадения себя с самим собой. "Другой" кроется и во времени. Ахилл, лишенный возможности вернуться, ускользнул от времени: его можно воспевать¹² как "лучшего из ахеев", эпического героя *excellence*¹³. Но для того чтобы достичь бессмертной *kleos*, он должен вначале принять смерть. Оппозиция Ахилл–Одиссей – это также оппозиция двух различных отношений ко времени: один герой мгновенно сторае и осужден вечно блистать в эпическом времени, тогда как другой мучитель но открывает для себя историчность, "время людей".

Если главное в "Одиссее" это возвращение, то какие пространственные схемы лежат в основе других рассказов – о путешествиях основателей новых городов? Продолжением "Одиссеи" в каком-то смысле является "Энеида". Корабли Энея бороздят уже знакомое по гомеровским стихам морское пространство. Но не противоположно ли путешествием Одиссея общее направление движения? Если Одиссей желает лишь вер

нуться на Итаку, оставляя за собой полностью разрушенную Троию, то Эней покидает пылающий город, чтобы никогда туда больше не возвращаться. Не представляет ли собой “Энеида” пример путешествия без возвращения, даже если весь смысл повествования состоит в том, чтобы создать новую Троию? Где и как ее создать? Все дело в этом. Это рассказ о вынужденной колонизации. Погибнуть или спастись, бежать, чтобы Троя не погибла? *Feror exul in altam* (“Изгнанный, я был унесен бурным морем”) – говорит Эней¹⁴. Он и его спутники становятся “скитальцами”, обреченными на долгое изгнание, как это Энею предсказывает тень его покойной супруги Креусы: “Долго широкую гладь бороздить ты будешь в изгнание”¹⁵. Долго не будут знать они, к каким берегам пристать, чтобы основать (*condere*) новую Троию или восстановить (*resurgere*) старую.

Но даже если поиски этого нового города вполне реальны, это лишь мнимое движение, истинное же движение совсем иного рода. Все пророчества, слова оракула, сновидения используются Вергилием, чтобы на самом деле превратить скитания в возвращение, хотя и не осознанное, к незнакомой земле предков. Очень быстро читатель поэмы открывает для себя то, что герои смогут понять лишь по прошествии долгого времени. Уже на Делосе Аполлон объявляет потомкам Дардана: “Та же земля, где некогда род возник ваш старинный, в щедрое лано свое, Дардана стойкие внуки, примет вернувшихся (*reduces*) вас. Отыщите древнюю мать!” И когда все спрашивают, что это за стены, под которые Феб призывает изгнанников (скорее даже приказывает им) вернуться (*reverti*)¹⁶, Анхису мнится, будто речь идет о Крите. Они тотчас же отправляются туда и даже закладывают новый город с прекрасным именем Пергам. Но едва стены были воздвигнуты, мор поражает деревья, посевы и людей, и им снова надо сниматься с места и плыть дальше.

Куда же им держать путь? Во сне Энею являются в свою очередь фригийские пенаты и открывают ему, что под страной Гесперид, о которой говорил Аполлон, подразумевалась на самом деле Авзония, иначе говоря, Лациум¹⁷. Муки изгнанников еще далеки до завершения, но отныне они знают: заложить город (*condere urbem*) или положить начало римскому роду (*Romanam gentem*) означает возродить Троянское царство (*resurgere regna Troiae*) и более того – это возрождение возможно лишь на родине предков, только там оно и может состояться¹⁸. Создание есть воссоздание, но в то же время это нечто совершенно новое. Троя “возвращается” туда, где ее никогда не было, и, однако, она там была всегда и там еще гда останется¹⁹. История на этом не заканчивается, так как Энею еще предстоит сражения, прежде чем он заложит город, причем, не сразу Рим, а сначала Лавиний. Остается еще урегулировать деликатный вопрос о том, как произошло превращение одного в другой, но даже уже после основания Рима Лавиний войдет в историю как место пребывания богов-пенатов Рима и общего очага²⁰.

Изгнание превращается в возвращение. Как если бы было невозможно непосредственно вести речь об *ἀρχή* – основе основ или абсолютном начале, как если бы было необходимо обойти эту тему, применяя различ-

ные повествовательные стратегии и дискурсы, которые даже в тот момент, когда они предоставляют возможность говорить, предостерегают от чрезмерной горячности. Рассказ о путешествии относится к их числу.

"Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь отголе"²¹. Это самые важные слова из всех тех, которые Моисей когда-либо обращал к освобожденным сынам Израиля. Бог услышал жалобы своего народа и вывел его из Египта, чтобы привести в страну "обширную и прекрасную", "текущую молоком и медом". Египту, земле лишений и угнетения, который они оставили навсегда, противопоставляется блаженство земли Ханаанской, до которой еще предстоит "возвыситься". Исход, ἔξοδος по-гречески, означает прежде всего выход²². Пространственная схема кажется элементарной - выходят из одной страны, чтобы войти в новую. Совершенно очевидно, что исход не предполагает возвращения (оно обернулось бы катастрофой), он предстает обращенным к будущему и открытым для непредвиденных случайностей. Он не является обычным путешествием, предусматривающим возвращение.

Пройдет сорок мучительных лет, прежде чем народу будет суждено под предводительством Иисуса Навина перейти через Иордан. Моисею только перед самой смертью будет дано увидеть издали землю Ханаанскую, но ему не будет позволено войти в нее. Переход через пустыню сопровождается возникновением и развертыванием истории. К тому же земля, "текущая молоком и медом", которую Господь клялся дать в полное владение своему народу, отнюдь не необитаема. Вначале придется ее завоевать. В конце путешествия - война, как и для изгнанника Энея, столкнувшегося с Турном, и даже для Одиссея, который вначале должен выгнать женихов из своего дома. И наконец - самое главное - это та самая земля обетованная, которую Господь обещал Аврааму, подтвердив обещанное Исааку и Иакову, а потом Моисею. "Я Господь! Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову... Я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю странствований их, в которой они странствовали"²³. Действительно, Аврааму Он сказал: "И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю Ханаанскую во владение вечное; и буду им Богом"²⁴. В этом смысле Исход - это также рассказ о возвращении в землю предков, но это возвращение, отсроченное надолго, возвращение в землю, которая им не принадлежит и никогда прежде не принадлежала. Эта земля странствий или "скитаний" обозначается по-гречески в Септуагинте как "земля пребывания" (ge paroikeseos) для пришельцев²⁵. Иными словами, Авраам обладает статусом иностранца. Впрочем, подобное выражение было употреблено и для того, чтобы сообщить Аврааму о будущем "пребывании" еврейского народа в Египте, который станет для них олицетворением чужбины²⁶. Зато при возвращении народ Завета овладеет землей, по которой ступали его предки²⁷. В той мере, однако, в какой он сумеет и никогда не перестанет быть священным народом, народом пророков.

Одиссей в своем блуждании по пустынному морю терпит всевозможные утраты - теряет имущество, славу, и даже свое имя, только для того

чтобы в одиночестве вернуться домой; для этого он вынужден выдавать себя за другого, видя как один за другим исчезают его спутники, утрачивающие память. Израилю же в пустыне под предводительством своего вдохновенного законодателя удается стать народом закона, глубоко отличным от толпы рабов, бежавших из Египта²⁸. Израилю, который создан его Богом, давшим ему Закон, заповедано всегда помнить о Египте, иначе эпоха гнета может возобновиться и Египет может “возвратиться”. Разумеется, речь идет не о действительном возвращении в Египет, но о том, что они сами рискуют воссоздать “Египет” внутри себя. Память – это противоядие. Во время своего похода народ не сталкивается с “другим” в виде чужих народов или чудовищных существ, но несет “другого” в себе самом. Он отступает от самого себя, когда поддается искушению язычества, как, например, в эпизоде с золотым тельцом: “Встань и сделай нам бога, – сказал он Аарону, – который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, не знаем, что случилось”²⁹.

В “Исходе” в ограниченном пространстве ясно сопоставляются “путешествие” и “возвращение”, они описываются с гораздо большей сложностью, чем в “Одиссее” или у Вергилия, и главное, в совершенно ином универсуме, где дерзость начинания черпается в способности повиноваться.

2. Антропология

Море в “Одиссее” – одновременно и одно и то же, и разное. В нем существует множество гетерогенных пространств, которые оно скорее разделяет, чем соединяет. И лишь Одиссей сумел, бороздя морскую даль, пересечь все эти пространства. Однако этот бесконечный путь по морю есть нечто значительно большее, чем просто путешествие по странам ближним и дальним, населенным и необитаемым. Благодаря этому путешествию, в ходе его, возникает и развивается гомеровская или же греческая антропология (если считать Гомера “учителем” Греции): она повествует о скитаниях и судьбе людей, смертных в этом мире, о жизненном предназначении тех, кого поэма справедливо называет “люди-едоки хлеба”.

В “Теогонии” и в “Трудах и днях” Гесиод рассказывает о том, как Прометей, борясь с Зевсом, впервые совершает кровавое жертвоприношение. Этот этиологический миф (почти теологический) создает весьма убедительную модель, которая объясняет и оправдывает фундаментальные и не подлежащие пересмотру различия между людьми, животными и бог. ми³⁰. Совсем в ином ключе, описывая странствия Одиссея, Гомер применяет те же фундаментальные антропологические категории. Там, где Гесиод статичен и нормативен, Гомер динамичен и повествователен. Различия уже реально существуют, свидетельство тому – приключения, которые переживают Одиссей и его спутники в то время, когда они пересекают различные сменяющие друг друга пространства, в свою очередь разделенные в соответствии с этими категориями: пространство “людей-едоков хлеба”, удаленные пространства и, наконец, пространство вовсе нечеловеческое, заселенное чудовищами, но также божествами. Короче го-

вора, это первая антропология, которая структурирует пространство "рассказов у Алкиноя", тем самым активизируя саму логику повествования.

"Ни бог, ни зверь", – таким могло бы быть ключевое слово этой антропологии. Поэмы Гесиода – попытка осмыслить эти различия. О них говорится уже в "Одиссее"³¹. Человек, определяемый как существо смертное, питающееся хлебом и мясом животных, предварительно принесенных в жертву, отгораживает себе собственную, эфемерную и подлежащую постоянному отвоеванию территорию между богами и животными. Именно поэтому Одиссей прилагает много усилий к тому, чтобы сохранить дистанцию между человеком и животным, с одной стороны, и с другой стороны – границу между человеком и богами. "Выслушай, светлая нимфа, без гнева меня, – говорит он в ответ Калипсо, предлагающей ему бессмертие, – я довольно / Знаю и сам, что не можно с тобой Пенелопе разумной, / Смертной жене с вечно юной бессмертной богиней ни стройным / Станом своим, ни лица своего красотою равняться; / Все я, однако, всечасно крушась и печалась, желаю / Дом свой увидеть и сладостный день возвращения встретить"³². А между тем его товарищи неоднократно утрачивали память. Побуждаемые голодом, они наедаются до отвала лотосом "сладко-медвяным", не могут устоять перед угощением, предложенным им Цирцеей и наконец совершают святотатство, принося в жертву священных быков Гелиоса³³.

Человек нуждался в домашних животных по двум причинам: во-первых, для того, чтобы обрабатывать землю, поскольку будучи едоком хлеба, он земледелец по призванию; во-вторых, для того, чтобы почитать богов, которые регулярно требуют свою долю жертвоприношений. Также и жертвоприношение – это то, что отличает человека от мира животных. Внутри этого первого большого разделения между миром животных и миром людей вводится другое: между дикими и домашними животными, между возделанным пространством и невозделанным. Для обозначения "дикости" грек располагал двумя словами, отсылающими к двум различным реалиям: слово "therios", образованное от "ther" – зверь, и слово "agrios", восходящее к "agros" и означающее невозделанную землю, свободное пространство, пар, отдыхающее поле³⁴. Говорят, Фалес радовался тому, что он родился человеком, а не диким животным, и добавлял – мужчиной, а не женщиной, греком, а не варваром³⁵.

Мир питающихся хлебом, откуда пришел Одиссей и куда он беспрестанно стремится вернуться, это мир Итаки, Пилоса, Спарты, Аргоса и еще многих других земель. Там простирается "земля, дарующая зерно", там пасутся тучные стада. Там путнику сразу бросаются в глаза "труды людей": это поля, на которых надо так тяжко работать, чтобы вырастить зерно – смолотое и испеченное оно становится "костным мозгом человека", как называл его Гомер. С хлебом едят мясо жертвенных животных, разделяя его на равные части, и пьют вино: в любую праздничную трапезу входит эта человеческая пища.

Будучи окультуренным, это пространство одновременно и социализированно. Человек в нем обычно не живет один и вдали от себе подоб-

ных. Он вписан в генеалогию, он член *oikos*, который является одновременно жилищем, семейной ячейкой и структурой власти; он принадлежит определенной общности (*demos, polis, astu*)³⁶. Он живет по преимуществу в "городе", в котором реализуются многообразные формы взаимоотношений: частые и систематические войны, обмен женщинами, гостеприимство, которое регулируется между знатными людьми практикой взаимного подношения даров, пиры у знатных людей и царей³⁷.

Это подлинно человеческое пространство четко очерчено. Это всего лишь небольшие участки, которые отделены друг от друга обширными необжитыми просторами и которые море одновременно и разделяет, и связывает. Владения Посейдона, "пустынное" море есть пространство знакомое и опасное; если кто и набирается смелости отправиться в плавание, то без всякой радости. А над "землей знаков" простирается небо, бронзовое, как его иногда называют. Это место пребывания "бессмертных", под землей же разверзается жилище Аида и страна мертвых³⁸. В целом земля представляется в виде плоского диска, окруженного потоком Океана, — началом всех морей и вод. Разделения на материки еще не существует.

Но внутри самого мира людей-едоков хлеба зоны, менее и более отдаленные, располагаются в виде концентрических кругов. Самая близкая и знакомая — та, границы которой очерчены путешествиями Телемаха из Итаки в Спарту и Нестора — от Трои до Пилоса. За ее пределами лежит второй круг — ареал путешествий Менелая и Одиссея Критского. Этот ареал включает Крит, раскинувшийся "посреди винного цвета моря" и простирается до берегов Финикии, где живут алчные и коварные мореходы, и далее до берегов Ливии, где "ягнята рождаются рогатыми", и Египта, страны, из которой "никто, занесенный однажды / К ним по широкому морю стремительным ветром, не мог бы / Жив возвратиться, откуда и в год долететь к нам не может / Быстрая птица, — столь страшно великой пучины пространство"³⁹. К ним прилегают пограничная область, место обитания "последних" людей (*eschatoi*): эфиопов, гостем которых бывает Посейдон, а также и Менелай; киммерийцев, теряющихся в туманных далах Океана; феакийцев, обладателей волшебных кораблей, которых посетил лишь Одиссей. Люди пограничных областей, конечно, тоже смертные, но у них особый статус: они еще близки богам, и их образ жизни сохраняет некоторые черты золотого века.

Это пространство оказывается настоящей ловушкой. Высокая выступающая скала мыса Малей острова Цитера на юге Пелопоннеса подстерегает путников. Этот пролив между скалой и островом решает все. Нестор, человек богобоязненный, огибает его, даже не заметив и таким образом без всяких блужданий возвращается из Трои в свой Пилос. Однако, если проход закрыт, жди долгих скитаний по "бесчисленным волнам"; это пришлось испытать Менелая, флот которого, лишившись кормщика, уносится к дальним берегам, к "иноязычным" (*allothronoi*), чужеземцам, которые не связаны с греками никакими отношениями⁴⁰. Более других достается Одиссею, он отнесен от Малей порывом бури, его носит по вол-

нам в течение девяти дней, пока он не пристает к стране логофагов, но это уже совсем другое пространство. Оно не является местом обитания людей-едоков хлеба. Именно в этом месте, заселенном не-людьми, о котором говорится в "рассказах у Алкиноя", Одиссей столкнется с полной инаковостью, которая ставит под вопрос границы и путает категории, разделяющие людей, богов и животных.

В отличие от прежнего это пространство предстает невозделанным, необитаемым и без четко обозначенных границ. Пересечь это пространство – значит познакомиться с разными образами жизни, каждый из которых характеризуется особыми формами питания, вплоть до антропофагии. В самом деле, всякий раз, когда путешественники пересекают какую-то часть повествовательного пространства, их ждет одно и то же разочарование: здесь нет возделанной пашни (и даже если, как в золотом веке, земля родит сама), и если существует скотоводство, как у циклопов и лестригонов, то оно никогда не сочетается с земледелием. Они пастухи, но (еще) не пахари. Нет ни зерна, ни хлеба, и, следовательно, трудно найти человеческую пищу. И вместе с тем невозможно также оказывать почести богам, принося угодные им жертвоприношения⁴¹.

Существа, которые населяют эти пространства, вкушают запретную для детей человеческих пищу богов: таковы Цирцея и Калипсо, питающиеся нектаром и амброзией. Или же они питаются цветами, как любезные, но беспамятные лотофаги. А то и пожирают при случае людей, как гиганты лестригоны, которые как тунцов поддевали на колья спутников Одиссея; или Полифем, людоед, пьющий к тому же неразбавленное вино (что является двойным отклонением от нормы), повседневная трапеза которого, однако, состоит из молока и сыра⁴². Надо дожидаться Феакии, чтобы вновь найти возделанную пашню и хлеб людей (правда, здесь фруктовый сад царя Алкиноя еще совсем близок золотому веку)⁴³. Но к тому времени Одиссей останется совсем один.

В этом пространстве никто ни с кем не общается. Калипсо живет одна в своем гроте, в стороне от других богов, и даже их гонец Гермес еще ни разу ее не навестил. Волшебница Цирцея тоже одинока и превращает в животных тех неосторожных, которые доверяются ее гостеприимству. Повелитель ветров Эол не одинок, но он живет взаперти на своем бронзовом острове, окруженный дочерьми и сыновьями, которые без всяких угрызений совести предаются инцесту. У лестригонов существует некое подобие общества – царь, его дворец, агора, однако этим гигантам незнакомо земледелие. К тому же они еще и каннибалы. Что касается циклопов, то, по Гомеру, они являются представителями примитивного образа жизни, когда каждый живет в своей пещере сам по себе, по собственным законам, невзирая на прочих⁴⁴. Пастух Полифем – галактофаг, но он не может устоять перед неразбавленным вином и свежим мясом.

Приставая к новому берегу, Одиссей всякий раз задает себе вопрос: прибыл ли он к "ужасным дикарям, не знающим справедливости / или к людям гостеприимным и богобоязненным", и ответ всегда один и тот же: в мире не-людей гостеприимство, как правило, не в обычае. Чужеземцу не

оказывают радушного приема⁴⁵. Цирцея притворяется радушной, чтобы лучше достичь своих целей. А Полифем просто потешается над гостем и заставляет Одиссею, что проявит свое гостеприимство и окажет честь Зевсугостелюбцу тем, что, разделавшись вначале с другими, сожрет в последнюю очередь того, кто назвал себя Никто⁴⁶. Только у феакийцев гостеприимство в обычае, только они — эти безупречные моряки, обитающие на границах миров, — и могут возвратить Одиссея в пространство людей-едоков хлеба, заставив его как бы обогнуть в нужном направлении мыс Малею, переместив его с другого края света в самый его центр.

Представляющая по сути своей поэтическую антропологию, "Одиссея" лежит в основе видения греками себя и других. Она создала — не в абстрактном смысле, а в форме рассказа о приключениях — долгодействующую парадигму, которую безусловно впоследствии развивали, перерабатывали, дополняли, пересматривали и критиковали, но которая позволяла отныне познавать мир и рассказывать о нем, мысленно его представлять, жить в нем и сделать из него мир людей, т.е. греков. И потому с полным правом Страбон мог уже в I в. н.э. назвать Гомера "основоположником географии"⁴⁷, ибо он создал и сформировал греческое учение о пространстве. Подобно тому, как тот из греков, кто, высадившись на незнакомый берег, закладывает новый город и затем после смерти погребается на агоре и становится объектом поклонения, так и Гомер занимает центральное место в греческой памяти.

3. Возвращение на Итаку

Там, где кончаются песчаные берега и плещется мелкая зыбь, начинается море, неизбежное и опасное. Это владения Посейдона. Именно он, преградив Одиссею дорогу домой, делает его "невольником" воли. "Великий потрясатель земли и пустынного моря, которому боги пожаловали две привилегии: укрощать коней и спасать корабли"⁴⁸. Но он также тот, кто их губит. Вооруженный трезубцем, он обрушивает шквальные ветры и вздымает валы или же успокаивает их, волнуя легким бризом. Он хочет, чтобы ему оказывали почести, принося полагающиеся ему жертвоприношения накануне отплытия в морское путешествие и перед заходом в гавань. Постоянно присутствующий в "Одиссее", он отец Полифема, хозяин (апах) пилийцев и феакийцев, он с наслаждением посещает пиры эфипов. Он бог моря, но не моряк. Ни строительство кораблей, ни искусство мореплавания его не интересуют и не заботят.

Эти знания находятся в ведении Афины, которая с их помощью вмешивается в происходящие на морских просторах события. Это она умеет строить быстрые корабли и управлять этими "морскими конями". Она водит рукой плотника, "чтобы он строгал ровно", руководит кормщиком, чтобы он "правил прямо", ибо ключевое слово в греческой навигации "ιθυειν" — держать прямо; хороший кормщик умеет идти строго по курсу, несмотря на ветры, которые сбивают его и кружат. Он умеет идти верным путем, когда сами ориентиры постоянно меняются; он умеет поддер-

живать неизменным путь корабля, когда внезапно налетают шквальные порывы ветра и несут его, меняя направление, так как если и существуют на море "водные пути", они никогда не прочерчиваются заранее и стираются по мере того, как исчезает бегущий за кормой след. И каждый раз их надо вновь и вновь воссоздавать, и они могут быть утрачены в любую минуту. Хороший кормщик должен обладать умом быстрым, как само море, гибким и изворотливым, быстро приспособляющимся к меняющимся обстоятельствам; он должен уметь воспользоваться случаем, который поможет ему наметить дорогу и найти пролив, через который можно проплыть (poros). "Кормщик таким же искусством по бурному черному понту / Легкий правит корабль, игралище буйного ветра"⁴⁹. Одиссей в большей мере, чем другие герои, наделен этой способностью. Будучи изобретательным, он находился в плену у моря и больше, чем кто-либо, испытывал невзгод в "поисках проливов".

Чтобы ходить по "туманному морю", держа правильный курс, у кормщика есть солнце, звезды и господствующие в данный момент ветры. Основные ориентиры определяются по движению солнца. Если путешественник перестает ориентироваться, где восход – eos, где закат – zophos, то это признак того, что он заблудился. Но eos и zophos – это нечто значительно большее, чем просто стороны света: они определяют разные пространства, его части и уровни. Eos есть точка, в которой солнце, выходя каждое утро из океана, появляется на горизонте, но это также вся видимая зона восхода; eos – это еще и дневное время суток, т.е. вся часть пространства, ориентированная с востока на запад, проходящая через юг; область, освещаемая солнцем, мир свыше, мир живых, мир Зевса. Zophos, наоборот, точка заката, но также и все пространство, которое ориентировано с запада на восток, проходя через север; низ, мир мертвых, обиталище Аида. И море может заставить вас заблудиться в этих пространствах, в некотором роде за пределами самого себя, в невидимом мире⁵⁰.

В самом мире людей-едоков хлеба есть места, все более и более отдаленные, за пределами которых нет ни путешествий, ни рассказов о путешествиях. Прежде всего это те края, которые отмечены путешествиями Телемаха с Итаки в Пилос, а также рассказом Нестора о его возвращении из-под Трои в Пилос. Но там нет и следа путешествия Одиссея.

Вот почему Нестор отправляет Телемаха дальше, в Спарту. Ведь если Спарта и принадлежит целиком и миру людей, то Менелай недавно вернулся из краев, откуда "никто, занесенный однажды / К ним по широкому морю стремительным ветром, не мог бы / Жив возвратиться, откуда и в год долететь к нам не может / Быстрая птица – столь страшно великой пучины пространство"⁵¹. Но даже в этих далеких мирах никто не видел Одиссея. И требуется вмешательство морского старца Протея, чтобы Менелай узнал, что Одиссей жив, но в плену у моря. Об этих далеких краях, по которым путешествовал Менелай, повествует по возвращении на Итаку переодетый Одиссей в своих "критских сказаниях". Крит, находящийся на достаточно близком и в то же время уже на далеком расстоянии от Итаки, занимает важное место в этих рассказах. В разговоре со

свинопасом Эвмеем Одиссей может вполне выдать себя за жителя Крита, и ему верят, когда он рассказывает о себе в третьем лице, как, подняв парус и держа путь к Трое, он был выброшен на Крит, пытаясь обогнуть мыс Малейо. То же самое произошло с кораблями Менелая, застигнутыми бурей у Малей и теперь гниющими на критском берегу.

Одиссей-критянин побывал в Трое, Египте, Финикии и, наконец, высадился у феспрогов, которые должны были переправить его на Итаку⁵². Менелая также знакомы Финикия, Египет с его рекой, и Ливия, "где ягнята рождаются рогатыми". Дальше за ними начинается пограничная зона — зона "последних" людей (eschatoi), живущих на краю земли, эфиопов, которых посетил один только Менелай, а также киммерийцев и феакийцев, которых увидел один лишь Одиссей. Они как будто бы и люди, поскольку смертны, но по своему положению, образу жизни и благодаря общению с богами они выше людей. Как только Одиссей высадился на острове Цирцеи, он взбирается на кручу в надежде увидеть обработанные поля, но замечает лишь дым, поднимающийся вдали, посреди густого леса⁵³. Однако дым не является признаком человеческого мира, как в этом имели возможность убедиться Одиссей и его спутники, побывав у циклопов или лестригонов, и как скоро им предстоит узнать это у Цирцеи. Кроме того, в этом краю невозможно отыскать человеческую пищу, и когда припасы на борту истощились и голод начал мучить путешественников, им остается лишь охота и рыбная ловля. Но охота ради пропитания не приносит чести и может быть даже опасной. Ведь иногда принимают за дичь животных, которые на самом деле не являются дикими; или еще хуже, когда, пренебрегая запретом, убивают животных, принадлежащих богам: быки Гелиоса, по виду пригодные в пищу, на самом деле священны⁵⁴.

Этот мир, в котором нет истинного общения, неподвижен. У него нет прошлого, нет памяти: это мир забвения, который не посетит ни один бродячий аэд, а тот, кто туда попадает, пропадает из памяти живущих; лотос оказывается цветком забвения, а дурманящее зелье Цирцеи лишает воспоминаний об отчизне. И Цирцея, и Калипсо поют, занимаясь ткачеством, но никто не слышит их песен. Эол со своими домашними проводит в застольях все дни напролет, но их бесконечные пиры лишены того главного, что приносит радость и украшает их — пения аэда. И тогда Одиссею самому приходится рассказывать о взятии Илиона во всех подробностях. Более того, эти пространства недоступны взору аэдов — таких, как Фемий и Демодок. Вдохновленный музой слепой Демодок поет о лишениях, которые ахеяне претерпели под Троей, как если бы он сам там лично присутствовал; но о страданиях Одиссея в даях туманного моря и у дикарей он не "соткал" ни одного сказания. Воспевая подвиги героев, аэд создает kleos, т.е. славу и память, однако пространство, в котором обитают не-люди, по сути своей akleos, т.е. лишено славы: герой, имевший несчастье попасть в него, ничего не выигрывает, он лишь все утрачивает, даже свое имя. Единственным аэдом этого пространства в конце концов оказывается только все помнящий Одиссей. Алкиной сравнивает рассказ о его приключениях (mithus) с истинной поэмой аэда⁵⁵.

И все же Одиссей не аэд, так как не муза его вдохновляет: он испытал на самом себе и увидел собственными глазами все то, о чем повествует⁵⁶. Он говорит от первого лица, являясь единственным свидетелем своих рассказов (что порождает сомнения в их подлинности), в то время как аэды рассказывают от третьего лица, прикрываясь авторитетом непременно присутствующих при этом муз. Но музы – дочери Зевса и богини памяти Мнемозины – "отсутствуют" в пространстве "сказаний" или, точнее говоря, единственные музы, которых там можно встретить – Сирены, но они своего рода антимузы – музы смерти и забвения⁵⁷.

В этом лишенном опор пространстве искусство кормщика мало что значит, да и плавание здесь не настоящее. Здесь скорее нужен провожатый, который был бы чем-то большим, чем человек. Одиссей утверждает, что высадился на острове Цирцеи, ведомый богом. Таким же образом он причаливает к берегу Циклопа, где к тому же еще и царит полная тьма: "В эту мы пристань вошли с кораблями; в ночной темноте нам / Путь указал благодетельный демон; был остров невидим; / Влажный туман окружал корабли / Острова было нельзя различить нам глазами во мраке"⁵⁸. И на берег Калипсо Одиссей заброшен богом. А чтобы ему удалось, наконец, ступить на берег Схерии, понадобилось и влияние Афины на ветры, которые вообще вне сферы ее влияния, и парус-талисман, которые вручила ему морская богиня Ино. Столь большое число повествовательных деталей подчеркивает недоступный характер этих мест – сюда попадают или случайно, по неведению (например, ночью); моряк же, обнаружив, что приближается к незнакомой земле, будет держаться от нее на приличном расстоянии, ожидая рассвета или не по своей воле (например, в результате кораблекрушения).

Между этими недоступными местами в действительности нет никаких средств связи, которые могли бы соединить их друг с другом или хотя бы помочь найти путь от одного к другому; это не отдельные разбросанные по морю острова, разделенные обширными водными пространствами, а простое рядоположение названий, где от одного места к другому нет ни какого перехода или вернее этот переход обозначается в поэме многократно повторенной формулой, соединяющей обычно два эпизода: "Далее поплыли мы, сокрушенные сердцем, и в землю прибыли"⁵⁹. Иногда в описание этого перехода включено время; но это всегда время чисто формальное, условное: после девяти дней плавания или на десятый день прибыли к лотофагам, или к Калипсо, или же: на двадцатый день прибыли в землю феакийцев. Но для того чтобы переправиться с острова Цирцеи к берегам океана, лежащим вообще за пределами мира, хватает одного дня плавания от восхода до заката солнца.

Мир, в который заносит людей против их воли и откуда нельзя вернуться, изображен в рассказе неоднородным и резко не разграниченным и боги, и мертвые рядом. Конечно, боги восседают на Олимпе, вечном и незыблемом (asphales), где царит вечный свет, где неощутимы движения воздуха, земли и вод. Стало быть, богам совсем не по душе это продуваемое ветрами и бурлящее волнами пространство, которое весьма неохотно пересекает Гермес, вынужденный предупредить Калипсо о решении Зев

са. Но конечно, Калипсо и Цирцея тоже богини, быть может, низвергнутые и обреченные на одиночество. Но все же богини, питающиеся божественной пищей. Нарушая правила, которых другие боги придерживаются в мире смертных, Калипсо и Цирцея позволяют смотреть на себя простым смертным. Тем не менее Цирцея при желании может стать невидимой. Богиня Калипсо подчиняется богам-мужам, которые бы не позволили, чтобы богиня жила со смертным. В этом невозделанном пространстве никто не совершает жертвоприношений, никто не придерживается правил, регулирующих отношения между богами и людьми – ведь, повторяя ритуал заклания и раздела жертвенных животных, люди причисляют себя к смертным, питающимся плодами земледелия. Именно отсутствие этого порядка и есть признак “другого” пространства, соседствующего с миром золотого века, где переплетаются дичность и общение с богами. Полифем формулирует эту мысль достаточно резко: “Нам, циклопам, нет нужды ни в боге Зевесе, ни в прочих / Ваших блаженных богах; мы породой их всех знаменитей”⁶⁰.

Сев утром на корабль без кормщика, Одиссей покидает Цирцею, ее страну утренней зари и солнечных восходов, чтобы, подгоняемый быстрым Бореем, к вечеру того же дня достичь крайних берегов океана, омывающего границы мира, и страны теней. Там, вытащив корабль на сушу, он отправляется по дороге, ведущей прямо к обиталищу Аида, где сливаются адские потоки. И так как ниже спуститься невозможно, не рискуя преступить “врата Аида”, ритуал требует промежуточной остановки для совершения искупительной жертвы Персефоне и Аиду – жертвенного возлияния вина, заклания барашка и черной овцы, головы которых должны быть повернутыми к Эребу. Тотчас же, привлеченные кровью, появляются тени усопших. Побелев от страха, Одиссей с обнаженным мечом в руке запрещает им приближаться, пока призрак Тиресия, единственного, кто сохранил в этом месте забвения “память”, не выпьет ее⁶¹. Напившись крови, мертвые оживают на мгновение, чтобы предаться разговорам и воспоминаниям, прежде чем снова исчезнуть в черном Эребе. Но даже временно ожив, мертвые все равно остаются лишь призраками, и с ними невозможен никакой физический контакт. Три раза Одиссей пытается обнять свою мать, но тщетно. Она была подобна легкому сну. Придя в ужас от одной мысли, что Персефона может насладиться “чудовище, голову страшной Горгоны”, Одиссей поспешно отступает. Он тот живой, который добрался до самых пределов страны мертвых. Он не перенес бы вид ужасной Горгоны, один взгляд которой превращает людей в камень. Присутствие Горгоны – знак того, что это крайний предел мира, тьмы, в котором все смутно и неясно⁶².

Но не судьба еще Одиссею преступить мрачные врата Аида и не сулит ему рок остаться пленником туманного моря. Ему предстоит вырваться, наконец, из этого пространства, откуда нет возврата. Но теперь, потерпев последнее кораблекрушение, он останется совсем один и вернется домой лишь с помощью феакийцев. В самом деле, те находятся на скрещении двух пространств – нелюдского и пространства едоков хлеба. Смертные, они об-

рабатывают поля и приносят жертвоприношения, их пиры украшены песнями аэдов, они гостеприимны и чтут Зевса-Гостелюбца. Навсикая еще не замужем, но ни у кого даже не возникает мысли выдать ее за одного из ее братьев, как то происходит у Эола: Одиссей стал бы хорошим зятем Алкиною. И впервые после начала странствий здесь вновь непосредственно появляется Афина (сначала в виде несущей кувшин молодой девушки)⁶³, хотя до сих пор повествовательное пространство было закрыто для нее. Смертные среди смертных – таковы феакийцы.

К тому же феакийцы живут на краю земли. Они ни с кем не торгуют и с подозрением встречают чужестранцев, с тех самых пор, как Навсифой поселил их в стороне, подальше от их буйных соседей Циклопов. В отличие от Итаки, которая представляет собой замкнутое общество, где рвутся социальные связи, Схерия – общество, где вся жизнь протекает в радости и согласии. Алкиной скорее хозяин на пирах, по велению которого сменяются песнопения, танцы и игры, чем царь, правящий с "помощью силы". Это общество не знает ни войны, ни насилия, ни героев, ни славы, и, по мнению Алкиной, гибель стольких воинов под стенами Трои ниспослана богами только для того, чтобы передать потомкам славные песни о героях. Феакийцы обрабатывают землю, но царский сад еще близок золотому веку. Феакийцы совершают жертвоприношения, но боги нередко оказывают им честь, присутствуя на их пирах, так как эти люди "божественной природы". Алкиной и Арета муж и жена, но они также брат и сестра; следовательно, они кровосмесители.

Не только в плясках и пении, но и в мореплавании феакийцы не имеют равных себе. У них все связано с морем. Подобно финикийцам, освоившим все морские просторы, они тоже профессиональные мореплаватели, но в отличие от тех, не занимаются обменом, не торгуют, они живут в морской стихии, но не извлекают из нее практической выгоды.

Волшебные суда феакийцев сами знают, куда им плыть: "... быстро они все моря обтекают, / Мглой и туманом одетые; нет никогда им боязни / Вред на волнах претерпеть иль от бури в пучине погибнуть"⁶⁴. Моряки Посейдона, но не Афины, феакийцы не нуждаются в кормишке и рулевом. Отплыв на закате, они перевозят Одиссея, спящего непробудным сном, "с безмолвной смертью сходным". И мчит корабль, и бег его "ровен и точен"; и путешествие его кончается еще до рассвета, пока царит ночь, в удобной гавани Форсис, жилище Наяд, – месте, которое носит двойственный характер и в котором, следовательно, возможен контакт между пространством повествования и пространством "людей-едоков хлеба". Затем ночные перевозчики возвращаются к своей судьбе, на свои корабли, не боящиеся ни ветра, ни волн. Но каков бы ни был их окончательный удел, исполнит или нет Посейдон свою угрозу, останутся феакийцы или исчезнут, отныне не будет больше посредников между двумя пространствами. Одиссей последний, кто совершил это путешествие, и Одиссея не может повториться.

Как и возвращение, жизнь "сладка как мед", а смерть всегда ненавистна. Но существует множество способов уйти из жизни. Герой готов при-

нять смерть в битве, переступить порог Аида, удостоившись славы (kleos), чтобы жить в песнях аэдов и памяти людей. Ахилл, предпочтя умереть под стенами Трои, отказывается от возвращения к своим близким (nostos), но завоевывает — и ему это известно — “немеркнущую славу”. По сравнению с героической гибелью в первых рядах сражающихся смерть на море совершенно ужасна, так как, ничего не получая взамен, человек теряет все: жизнь, право на возвращение домой, положение и даже собственное имя. Но что еще страшнее, — безвестно теряя жизнь, он не может считаться по-настоящему мертвым, так как, если он долго останется не погребенным должным образом, его тень будет бродить, “тщетно скитаясь перед широковатным Аидом”⁶⁵, не имея возможности переступить порог. И если эта неприкаянная душа возвращается назад, то она представляет уже угрозу для живых. Пришедшего к воротам Аида Одиссея его спутник Эльпенор, оставленный без погребения на острове Цирцеи, просит отдать ему последний долг, на который он имеет право: “Там не оплаканный я и безгробный оставлен, чтоб гнева / Мстящих богов на себя не навлек ты мою бедою. / Бросивши труп мой со всеми моими доспехами в пламень, / Холм гробовой надо мною насыпьте близ моря седого”⁶⁶.

Вот почему на краю гибели в морской лучине Одиссей скорбит, что не пал под Троей возле тела Ахилла, так как тогда его похоронили бы с честью, и ахеяне могли бы “увезти” его славу (kleos). Вот почему и Телемах счел бы его смерть менее жестокой, поскольку у отца была бы своя могила и “сын унаследовал бы его громкую славу”. Но вместо того, чтобы быть сожженным на костре, как того требует обычай, его жалкий труп станет добычей собак, птиц и рыб, и “белые кости” его не будут собраны для погребения. “Мужа, которого белые кости, быть может, иль дождик / Где-нибудь на бреге, иль волны по взморью катают”⁶⁷. Мертвый или живой, исчезнувший Одиссей, как говорит об этом Телемах, был унесен “бесславно” (akleios) гарпиями, этими бушующими смертельными вихрями, и уход его был незримым (aistos) и неизвестным (apustos).

Таким образом путешествие Телемаха приобретает двойную цель: во-первых, он отправляется на поиски kleos своего отца, т.е. того, что люди о нем говорят; и во-вторых, если ему доведется встретить кого-либо, кто “видел” отца мертвым, он немедленно вернется на Итаку, чтобы соорудить ему могилу (sema) и оказать погребальные почести. Хотя это будет только кенотаф, но все равно он будет “означать”, что Одиссей мертв, а воздвигнутый памятник станет для потомков явным знаком его безупречной kleos. Так и Менелай, задержавшись в далеком Египте, воздвигает памятник своему брату Агамеяну, “чтобы век не погасла его слава”. Признание смерти Одиссея способствовало бы и разрешению сложной ситуации на Итаке: появилась бы возможность начать борьбу не столько за Пенелопу, сколько за царство. А Телемах мог бы тогда заставить считаться со своими правами, объявив себя наследником “славы” отца.

На протяжении всей своей жизни герой борется за то, чтобы избежать участи безликой “безымянной” толпы. А смерть на море сводит на нет все его усилия, вынося его за пределы пространства мира людей в бес-

славные морские просторы. Такая смерть – безымянное исчезновение. Узнав о том, что Телемах пустился в плавание, Пенелопа восклицает: "Иль захотел он, чтобы в людях и имя его истребилось?"⁶⁸ В морской части повествования слава (kleos) Одиссея – и прежде всего его имя – почти не упоминаются (оно фигурирует лишь в иногда упоминаемых прежних предсказаниях). Здесь его прославленное имя (kluton), как он сообщает об этом Полифему, Никто. Даже рискуя быть раздавленным вместе со своим экипажем скалой, сброшенной ослепленным Циклопом, он не может отстаивать права на свершение подвига ради прославления своего имени. Положение обязывает. Лишь в Феакии, где Демодок запел о Троянском коне и хитроумии Одиссея, он может вновь предстать под своим человеческим именем и, отвечая Алкиною, который говорит ему, что все имеют какое-то имя, признает свою личность: "Я Одиссей, сын Лазртов, везде изобретеньем многих / Хитростей славных и громких молвой до небес вознесенный"⁶⁹.

Если Одиссей, скитаясь по морю, становится Никем, т.е. перестает быть кем-либо, то и Телемах тоже не знает, кем он является: "Мать уверяет, что сын я ему, но сам я не знаю"⁷⁰. Ни уверения Пенелопы, ни физическое сходство с отцом, столь поразившее Ментеса, Нестора и Менелая, недостаточны, чтобы поверить в свое кровное родство с отцом: сын он Одиссея или сын "Никого", ничей?

Существует, однако, место в мире не-людей, где имя Одиссея пользуется известностью – в лугах Сирен⁷¹. Сирены знают об Одиссее, им известны лишения, которые он претерпел под стенами Трои, им знакомо все, "что происходит на тучной земле", т.е. у людей. Но своим сладостным пением они завораживают (и обманывают) всякого, кто к ним приближается. И тогда возвращение невозможно: если Одиссей соблазнится послушать их, то останется забытым, без погребения, тлеть на берегу. Ведь в отличие от истинных Муз, которые благодаря песням аэдов даруют погибшим героям "нетленную" жизнь, Музы смерти могут дать только забвение в смерти бесславной, без памятного могильного холма. Слушая их (как если бы он слышал аэда, воспевающего его после смерти), герой теряет все: kleos и nostos, славу и возвращение. Он уже мертв.

Но в конце концов Одиссей добьется всего: и возвращения, и славы. Победитель Трои, он вернется на Итаку, и у него останется "сил" убить женихов. Ведь даже преследуемый ненавистью Посейдона, он избежал жалкой смерти в ночных бурях. Но вернувшись на Итаку и вновь став Одиссеем, он должен будет отправиться в новое путешествие, исполняя таинственное и необычное предсказание Тиресия. «О Пенелопа, – сообщит он жене в тот момент, когда они обретут друг друга, – еще не конец испытаниям нашим. / Прорицатель Тиресий сказал мне: "Покинув / Царский свой дом и весло корабельное взявши, отправься / Странствовать снова и странствуй, покуда людей не увидишь, / Моря не знающих"⁷². Странствовать не для того, чтобы повидать города людей, но, наоборот, для того, чтобы самому вызвать удивление. С корабельным веслом на плече он должен идти, пока не дойдет до той страны, где жители в самом

деле не знают моря, и идти до тех пор, пока кто-то из прохожих не заинтересуется, почему он путешествует с лопатой для зерна на плече. И тогда, поняв, что его странствия окончились, он должен воткнуть весло в землю и на этом месте принести жертву Посейдону. Как если бы этой искупительной жертвой, принесенной на границе сферы влияния Посейдона, Одиссей оказывал богу высшую почесть. В последний раз он должен достичь пределов и наметить границу. И уже затем, возвратившись на Итаку и состарившись, встретить смерть — "...спокойно и медленно к ней подходи, ты кончину / Встретишь, украшенный старостью светлой". Тиресий еще уточнил: "Смерть не застигнет тебя на туманном море (ex halos)"⁷³. Смерть — "пришедшая с моря" или "вдали от моря"?

Оба толкования возможны. Употребляются и обыгрываются оба значения. Так, будущему императору Титу Аполлоний Тианский, как новый Тиресий Одиссею, предсказывает, что "смерть придет с моря"⁷⁴. Философы-неоплатоники использовали это предсказание для того, чтобы придать путешествию Одиссея мистический характер. Нумений Аламейский, писатель второй половины II в., полагал, что очевидно это выражение означает — "вне моря", "в стороне от моря". Ускользнув наконец от испытаний земной жизни, Одиссей вдали от волнующегося моря обретет покой небесной родины: "Умереть значит скрыться от бурных волн земной жизни"⁷⁵. Фигура Одиссея — образ души, оказавшейся в чувственном мире. Размышляя над положением изгнанника, Плутарх полагал, что все живущие в каком-то смысле случайные странники и скитальцы⁷⁶.

То, что отныне превращает Одиссея в символ — это не столько его знание о мире, сколько его способность убежать от него: не путешествие, но странствие со всеми опасностями, вплоть до окончательного избавления. Такое понимание образа Одиссея было подготовлено различными философскими школами, которые увидели в нем воплощение своего идеала. Одиссея-киника, когда он просит подаяние в своем собственном дворце; Одиссея-стойка, способного переносить лишения, презирать удовольствия и противостоять враждебности судьбы; Одиссея, умеющего противиться искустельному зову сирен — аллегории удовольствия, поэзии или познания⁷⁷. В этих последовательных превращениях персонажа его путешествие по обширному миру также трансформируется: оно становится лишь метафорой другого "путешествия", гораздо более прекрасного, предназначенного для философа, остающегося на месте, но путешествующего духовно.

Гермер, пишет Максим Тирский, назвал Одиссея "мудрым". Однако что же он повидал? "диких фракийцев и киконов, лишенных солнца киммерийцев, убивающих своих гостей циклопов, отравительницу, Аида, Сциллу, Харибду, сады Алкиноя, хижины Эвмея: все вещи опасные, эфемерные и сказочные". Что же сказать о картине, которую призван созерцать философ? Будучи абсолютно ясной и правдоподобной, она похожа на сновидение, заключающее в себе всю Вселенную⁷⁸. Земное странствие в разнообразном мире есть всего лишь жалкое подобие этой картины или, точнее, препятствие, отклонение от цели, которое отвращает фило-

софа от созерцания мира горнего, от того, чтобы всецело предаться созерцательной жизни. Одиссей превращается в монаха.

4. Странствия имени

Если принять концепцию смерти "вдали от моря", то Одиссей становится олицетворением человека, который, подобно изгнанному в Рим Жоашену Дюбелле, мечтает только о дне возвращения, чтобы "дожить остаток жизни среди своих близких". Напротив, если принять концепцию смерти, "пришедшей с моря", он становится, как в "Одиссее" Никоса Казандзакиса (1938), тем старым капитаном, который, отплывая на заре с Итаки в последнее безвозвратное путешествие, заявляет, что "чужбина и есть его родина"⁷⁹.

За пределами "Одиссеи" и ее пространства эта двусмысленная ситуация, действительно, сделала возможным освятить именем Одиссея другие путешествия во времени и пространстве. Но прежде всего этот странник поневоле, повидавший и посетивший столько городов и столько людей без всякого желанья их увидеть и узнать, быстро превратился в знатока обширного мира, покровителя путешественников, этнографов и историков и даже в идеал политика и государя. Как если бы мы не знали первые строки поэмы, забыли о том, что Одиссей изображается в поэме как единственный и последний герой, разлученный с отчизной и женой⁸⁰. Именно это противоречие оправдывает его воспевание. В эпосе возвращений он являет собой исключение: тот, кто – все еще – не вернулся. Почему? Как так получилось? Нерешенная проблема заявлена, и теперь все искусство аэда будет состоять в том, чтобы своим вмешательством в события максимально отсрочить день возвращения. Но так как Одиссей не погиб под Троей и не исчез в море, он не может не вернуться. Даже если прорицания Тиресния готовят ему новые странствия, и его возвращение домой не означает окончание его скитаний.

В прологе "Истории" Геродота мы находим непосредственный отклик на первые главы "Одиссеи". Историк желает, подобно путешественнику, следовать опыту Одиссея. Так же как Одиссей, он хочет объехать большие и малые города людей, узнать их. И более того, он знает, что "те, что были некогда великими, стали по большей части малыми, и что те, кто были великими в свое время, были малыми прежде", он знаком с непостоянством времени⁸¹. Следовательно, он должен в равной степени упомянуть и те, и другие, переходя от того, что можно увидеть, к тому, что увидеть уже нельзя, но что оставило следы, заслуживающие внимания. В самом деле, историк, по мнению Геродота, подобно мандельштамовскому Улиссу, осознает себя как человека, который вернулся "пространством и временем полный", вернулся для того, чтобы рассказать.

Под этими словами подпишется и Полибий, который настаивает на том, что историк должен все увидеть собственными глазами и все испытать на собственном опыте, объединив в себе качества исследователя прошлого и политика⁸². В I в. Диодор Сицилийский начнет свою "Всеоб-

щую историю" упоминанием об Одиссее. Но точка зрения изменилась: речь идет не об опыте историка, но об опыте читателя: история предполагает обучение, без того, чтобы человек сам проходил через испытания⁸³. Последнее все-таки более утешительно.

Римляне прекрасно восприняли такой образ Одиссея – человека опытного и образец добродетели, как об этом свидетельствуют живопись и скульптура, повторившие греческие модели. Бернар Андре, изучая образ Одиссея в Риме, выявил, что его образ и образ Лаокоона находятся друг с другом в отношениях дополнительности и противоположности. Одиссей – образец человека изобретательного и самостоятельного, способного противостоять судьбе; Лаокоон праведник, сокрушенный роком⁸⁴.

Если перешагнуть через века, в частности, эпоху Возрождения, великое время открытий и путешествий, когда переоценивали сочинения сказителей или "обманщиков" типа Геродота⁸⁵, то еще и в XVIII в. мы встретим преподобного отца Жозефа-Франсуа Лафито, ссылающегося на авторитет Гомера и Одиссея, когда речь заходит об изучении нравов и обычаев. Эта наука настолько интересна и полезна, пишет он, что Гомер "счел нужным сделать ее сюжетом целой поэмы. Ее цель – поведать о мудрости ее героя Одиссея, который использует различные отклонения от основного курса мореплавания для того, чтобы добыть сведения о нравах других народов"⁸⁶. Но для чего эти сведения, если не для того, чтобы нас просветить? Отсроченное возвращение – это результат просчетов в искусстве навигации, из которых герой, подобно современному исследователю, умеет извлечь пользу, заполнив белые пятна на карте и сделав путевые записи. В противоположность тому, что писал Паскаль, путешествие не является занятием из "праздного любопытства", поскольку оно не ставит своей целью "бесплодное знание".

Но долгая дорога странствий, освященная именем Одиссея⁸⁷, еще раньше была прославлена Данте. В восьмом круге ада поэт встречает Одиссея. Проводник и посредник поэта Вергилий расспрашивает осужденного, желая узнать, где же его настигла кончина. Данте, очевидно, исходит из загадки, связанной с истолкованием этой смерти. Он без колебаний высказывается за версию о смерти, "пришедшей с моря", а в ответ следует необычный рассказ, в котором предстает Одиссей нового времени, наделенный жаждой познания и наказанный дважды: как человек античной эпохи, язычник, и как человек нового времени, т.е. чрезмерно любознательный. Петрарка напишет об Одиссее, что он был тем, кто желал от мира "увидеть лишнее".

Поразительно, что дантовский Одиссей находится в том же положении, что и рассказчик в "Истинной истории" Лукиана Самосатского (II в.). В этой пародии на повести о путешествиях, образцом для которой послужили именно те истории Одиссея, которые он рассказывал у Алкиноя (он заставил "бедных простодушных феакийцев" проглотить тысячу и одну небывлицу), Лукиан, или – точнее – рассказчик, говорящий от первого лица, начинает с недвусмысленного заявления о том, что он будет лгать, тем

самым заранее подрывая доверие к написанному. Не "я видел", "я слышал", но "я заявляю, что я ничего не видел, ничего не слышал", "со мной ничего не происходило". Следовательно, вы не должны мне верить, просто-напросто "я решил солгать, но так как я откровенно говорю, что рассказываю небылицы", то в этом я честнее остальных. Но по мере развертывания повествования возникают обычные признаки достоверности рассказа: подробности путешествий, непосредственные наблюдения, слова "я видел" и даже надпись, составленная якобы самим Гомером в честь Лукиана: "Возлюбленный благословенными богами Лукиан видел все эти края, а затем отплыл в любимую отчизну"⁸⁸ Восходящий к жанру пародии рассказ Лукиана подорвал доверие ко всем остальным рассказам о путешествиях. Будучи почти столь же невероятными, эти рассказы, тем не менее, начинались недвусмысленными заверениями в правдивости: "я видел собственными глазами", "я сам слышал". Затем Лукиан-Одиссей и Лукиан-Гомер продолжают: стимулом для путешествия к океану были "ум живой и тяга к постижению нового, а также стремление узнать, где кончается океан и что за люди живут на другом берегу"⁸⁹. Иными словами, вымысел отражает явное признание в любознательности и желании увидеть новое. Интересующийся антиподами путешественник есть антипод Одиссея! Вымышленный путешественник призван стать настоящим первооткрывателем, но прежде всего он призван высмеять исследователей и историков, которые узурпировали позицию естествоиспытателя-очевидца. Они хотят заставить нас поверить в то, что они знают потому, что они видели; однако чаще всего за этим ничего не кроется. Но я, который ничего не видел, я заявляю о своем желании видеть!

Подобно путешественнику Лукиана, дантовский Одиссей предпочел возвращению на Итаку и долгу любви искушение "открытого моря" и пламенное стремление стать "знатоком мира": он хочет познать на собственном опыте необитаемый мир и найти его границы. И он, пройдя Геркулесовы столпы, устремляется к Океану:

Уже в ночи я видел все светила
Другого остья, и морская грудь
Склонившееся наше заслонила,
{...}

Когда гора, далекой грудой темной,
Открылась нам; от века своего
Я не видал еще такой огромной.

Сменилось плачем наше торжество:
От новых стран поднялся вихрь, с налета
Ударил в судно, повернул его

Три раза в быстрине водоворота;
Корма взметнулась на четвертый раз,
Нос канул книзу, как назначил Кто-то
И море, хлынув, поглотило нас⁹⁰.



Высокая гора, роковая каменная глыба, у которой погиб корабль, — это гора Чистилища, расположенного на противоположном по отношению к Иерусалиму конце мироздания. В то время как Одиссей и его спутники радуются, что наконец-то достигли суши, они мощным ударом отброшены назад. Земля искупления им недоступна и не может быть доступна. Об этом кораблекрушении, постигшем души и тела, “как назначил Кто-то”, поэт Георгос Сеферис великолепно и точно написал, что оно осталось в его памяти “как глубокая незаживающая рана окончательного исчезновения античного мира”⁹¹. И больше нет возврата для Одиссея.

Пер. с франц. Л.Б. Илиашвили

¹ Hartog F. Mémoire d'Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce ancienne. P., 1996.

² См.: Cavafy Oeuvres poétiques. P., 1992. P. 31. Рус. перевод см.: Кавафис К. Лирика. М., 1984. С. 41–42. (пер. с новогреч. С. Ильинской). — *Примеч. пер.*

³ Одиссея, IX, 229; XII, 193. Здесь и далее текст приводится по изд.: Одиссея: Пер. В. Жуковского. М., 1967 (Б-ка всемирной литературы).

⁴ Там же, X, 472.

⁵ Vernant J.-P. Aspects mythiques de la mémoire: Mythe et Pensée chez les Grecs. P., 1988. P. 109–136.

⁶ Одиссея, XI, 119–137;

⁷ Одиссея, XIII, 187–196.

⁸ Malkin I. Religion and Colonization. Leyden, 1987. P. 2, 134; Detienne M. Appolon archégete. Un modèle politique de la territorialisation // Tracés de Fondations / Sous la dir. de M. Détiennne. Louvain; Paris, 1990. P. 310.

⁹ Одиссея, XI, 100.

¹⁰ Vernant J.-P. L'individu, la mort, l'amour. P. 1989. P. 151.

¹¹ Одиссея, IV, 105–107.

¹² Hartog F. Premières figures de l'historien en Grèce: historicité et histoire (в печати).

¹³ Nagy G. Le meilleur des Achéens. P., 1983.

¹⁴ Энеида, III, 11. Здесь и далее текст приводится по пер. С. Ошерова под ред. Ф. Петровского. М., 1975. — *Примеч. пер.*

¹⁵ Там же, II, 780.

¹⁶ Там же, III, 94–96.

¹⁷ Там же, III, 132–171.

¹⁸ Это только часть истории, надо еще уступить место латинянам Эвандра (которые сами родом из Аркадии). По настоятельной просьбе Юноны Юпитер решает (XII, 837), что все (латиняне и троянцы) будут узнавать друг друга по общему наименованию “латиняне”.

¹⁹ Энеида, VIII, 36–37. Слова бога Тибра Энею: “От врагов спасенную Тройю нам возвращаешь ты вновь и Пергам сохраняешь навеки”.

²⁰ Thomas Y. L'institution de l'origine “Sacra principiorum populi romani” // Tracés de Fondations. P. 143–170).

²¹ Исход, 13,3.

²² Об и. ходе см.: La Bible d'Alexandrie, 2 L'Exode / Trad. A. Le Boulluec, P. Sandevour. P., 1989. P. 26. Об этих отрывках из Книги Бытия существуют разные мнения: некоторые считают их более поздними, относя их к эпохе Исхода — а именно, к тому времени, когда речь шла о завоевании Земли Обетованной. Другие, напротив, видят в Обетовании очень древний элемент, восходящий к доханаанским временам, данным Богом племени кочевников; и, наконец, третьи полагают, что Авраам уже вступил на землю Ханаанскую, когда Обетование было ему дано и что речь шла о территории вокруг Хеврона. См.: Davies W.D. The

Terrestrial Dimension of Judaism. Berkeley, 1982. P. 6–28.

²³ Исход, 6,2–4.

²⁴ Бытие, 17, 8. Известно, что первым словом Яхве Аврааму было “пойди”: “Пойди из зем-

- ли твоей (Халдеи, от родства твоего и из дома отца твоего (и иди) в землю, которую Я укажу тебе" (Бытие, 12,1).
- ²⁵ См.: *Harl M. La Bible d'Alexandrie* (I: Le Génèse). P., 1986. P. 66; коммент.: p. 221.
- ²⁶ Бытие, 15,13: "Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их и будут угнетать их четыреста лет". Умирая, Иаков берет клятву с Иосифа не оставлять его прах в Египте, но вынести его и похоронить на земле отцов (Бытие, 47, 30).
- ²⁷ Септуагинта употребляет здесь слово *kataskhesis* (владение), которое соответствует выражению *katekhein* ген. См.: *Harl M. Op. cit.* P. 170.
- ²⁸ Об Исходе и его последующих толкованиях см.: *Walzer M. Exodus and Revolution*. New York, 1985.
- ²⁹ Исход, 32.
- ³⁰ *Vernant J.-P. A la table des hommes, Mythe de fondation du sacrifice chez Hésiode // M. Detienne, J.-P. Vernant. La cuisine du sacrifice*. P., 1979. P. 39-68.
- ³¹ *Vidal-Naquet P. Le chasseur noir*. P., 1981.
- ³² Одиссея, V, 215-220.
- ³³ Там же, IX, 94; X, 230-236; XII, 340-351.
- ³⁴ *Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque*. P., 1967. Ch. IV. Обычно эти два термина объединяют в одно слово, обозначающее дикость.
- ³⁵ *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, I, 33.
- ³⁶ *Levy E. Astu et polis dans l'Iliade // Kiema*. 1983. 8. P. 55-73.
- ³⁷ *Finley M.J. Le Monde d'Ulysse*. P., 1978; *Scheid-Tissinier E. Les usages du don chez Homère: Vocabulaire et Pratiques*. Nancy, 1994.
- ³⁸ *Ballabriga A. Le Soleil et le Tartare: L'image mythique du monde en Grèce ancienne*. P., 1986.
- ³⁹ Одиссея, III, 319-322.
- ⁴⁰ *Gauthier Ph. Notes sur l'étranger et l'hospitalité en Grèce et à Rome // Ancient Society*. 1973. Vol. 4. P. 1-21.
- ⁴¹ Одиссея, XII, 340-425.
- ⁴² Об обычае употребления греками вина на пирях см.: *Lissarague F. Un flot d'images. Une esthétique du banquet grec*. P., 1987.
- ⁴³ Одиссея, VII, 112-131.
- ⁴⁴ *Аристотель*. Политика, I, 2.
- ⁴⁵ *Scheid-Tissinier E. Remarques sur la représentation de l'étranger dans le monde homérique // Civiltà classica e cristiana*. 1990. XI, 1. P. 7-31.
- ⁴⁶ Одиссея, IX, 364-370.
- ⁴⁷ *Страбон*, I, 1, 2. В это определение Страбон, конечно, вкладывает "узкогеографический" смысл.
- ⁴⁸ О функциях Посейдона см.: *Détienne M., Vernant J.-P. Les ruses de l'intelligence, La Métis des Grecs*. P., 1974. P. 221-236.
- ⁴⁹ Илиада, XXIII, 316-317. Цит. по: Илиада: Пер. Н.И. Гнедича.
- ⁵⁰ *Suillondre J. La Droite et la Gauche dans les poèmes homériques*. Rennes, 1943. P. 185-208.
- ⁵¹ Одиссея, III, 319-322.
- ⁵² Там же, XIV, 199-359.
- ⁵³ Там же, 194-197.
- ⁵⁴ Там же, XII, 340-425.
- ⁵⁵ *Frontisi-Ducroux F. Homère et le temps retrouvé // Critique*. 1976. Mai. P. 543-544.
- ⁵⁶ *Hartog F. Premières figures...*
- ⁵⁷ *Vernant J.-P. L'individu, la mort, l'amour...* P. 144-146.
- ⁵⁸ Одиссея, IX, 142-146.
- ⁵⁹ См., например: Там же, 105-106.
- ⁶⁰ Там же, 275-276.
- ⁶¹ Там же, XI, 518-540.
- ⁶² Там же, 632-635. См.: *Vernant J.-P. L'individu, la mort, l'amour...* P. 88-89. Есть и другое объяснение: талище мертвых - Елисейские поля. Оно одновременно находится на Олимпе и в Океане, на границе с сушей, здесь нет ярко выраженной смены времен года, сюда попадают после смерти Радамант и Менелай (Одиссея, IV, 563-569).
- ⁶³ Одиссея, VII, 19-20.

- 64 Там же, VIII, 561–563.
- 65 Илиада, XXIII, 74.
- 66 Одиссея, XI, 72–75.
- 67 Там же, I, 161–162.
- 68 Там же, IV, 710. Об имени Телемаха см. комментарий: *Svenbro J. Phrasikleia: Anthropologie de la lecture en Grèce ancienne*. P., 1988. P. 78–80.
- 69 Одиссея, IX, 19–20.
- 70 Там же, I, 215–216.
- 71 *Ricci P. The Song of the Sirens // Arethusa*. 1972. XII, 2. P. 121–132.
- 72 Одиссея, XXIII, 248, 267–268; *Ballabriga A. La prophétie de Tirésias // Metis*. 1989. IV, 2. P. 291–304.
- 73 Одиссея, XI, 121–137.
- 74 *Филострат*. Жизнь Аполлония Тианского, VI, 32. Титу, добавляет Филострат, надо остерегаться зазубренного копыя, которым, по преданию, был ранен Одиссей.
- 75 *Парфирий*. Грот нимф, 34, 35; *Buffière F. Les mythes d'Homère et la pensée grecque*. P., 1973. P. 415.
- 76 *Plutarque*. De l'exil. P., 1980.
- 77 *Buffière F.* Op. cit. P. 372–386; *Pépin J. Mythe et Allégorie. Les origines grecques et les contestations judéo-chrétiennes*. P., 1976. P. 107–108, 110.
- 78 *Maxime de Tyr. Dissertations / Ed. M.V. Trapp*. Leipzig, 1994. 16, 6.
- 79 *Kazantzaki N. L'Odissée*. P., 1971. Ch. 2.
- 80 Одиссея, I, 13.
- 81 *Hartog F. Premières figures...*
- 82 См. гл. V: *Hartog F. Mémoire d'Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce ancienne*. P., 1996.
- 83 *Диодор Сицилийский*. Всеобщая история, I, 1, 2.
- 84 *Andreae B. Odiseus: Archäologie des europäischen Menschenbildes*. Frankfurt a. M. 1982.
- 85 *Hartog F. Le Miroir d'Hérodote: Essai sur les représentations de l'autre*. P., 1991. P. 313–316.
- 86 *Lafitau J.-F. Moeurs des sauvages américains comparées aux moeurs des premiers temps*. P., 1724. P. 4.
- 87 *Stanford W.B. The Ulysses Theme*. Oxford, 1963; *Botani P. L'ombra di Ulisse*. Bologna, 1992.
- 88 *Лукиан Самосатский*. Истинная история, II, 28; *Fusilio M. Le miroir de la Lune. L'Histoire vraie de Lucien: de la satire à l'utopie // Poétique*. 1988. 73. P. 109–135; *Mal-Maeder D., van. Le détournement homérique dans "l'Histoire vraie" de Lucien: Le rapatriement d'une tradition littéraire // Études de Letters, Lausanne, 1992. Avr.-Juin. P. 123–146.*
- 89 *Лукиан Самосатский*. Истинная история, I, 5.
- 90 *Данте*. Божественная комедия. Ад. XXVI, 127–129; 133–142 (пер. М. Лозинского).
- 91 *Séfëris G. Essais, Hellenisme et Création*. Paris, 1987. P. 254. Можно добавить, что именно это сказание об Одиссее всплывает в памяти Примо Леви в Освенциме. Именно эти стихи он пересказывает своему товарищу по лагерю (который не знает итальянского). Именно образ Одиссея – того, кто не перестает помнить о том, что он человек, внезапно возникает в памяти депортированного в Освенцим еврея.